

захстанских степей, скромный отлаженный быт простых крестьян, русская песня и казахский фольклор, казачье мироустройство и жизнь периферийных городов породили две яркие поэтические индивидуальности – Сергея Есенина и Павла Васильева.

*Наталья Суздальцева,
кандидат филологических наук, г. Саров,
Нижегородская область*

ПУШКИНСКИЕ И ЕСЕНИНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА ГУБАНОВА

О поэзии Леонида Губанова в последнее время говорится много, что связано, прежде всего, с его 60-летним юбилеем, до которого поэт не дожил. Статьи и воспоминания о нем можно прочесть и в центральной прессе, и особенно на сайтах Интернета. Вышли наконец-то два сборника его стихов: «Серый конь» и «Я к музе сослан на галеру». А при жизни Губанов имел лишь одну серьезную публикацию в журнале «Юность» и в литературу вошел именно как поэт самиздата. Начало нового века – всегда время подводить итоги века минувшего, расставлять все доставшееся наследство по полочкам, датам, направлениям, значимости, наконец. Время эпитетов и ярлыков. Каков он, Леонид Губанов, с точки зрения места в русской литературе? «Русский Рембо», «неофутурист», «авангардист», «поэт андеграунда» или же «самый самобытный поэт XX века», или же просто, как он сам всегда хотел, «гениальный Губанов»? При всей своей индивидуальности Леонид Губанов, как никакой другой поэт второй половины XX века, хотел быть типичным Поэтом, жаждал традиции и связи времен, а не новаторства, хотел быть преемником и наследником Пушкина, Лермонтова, Есенина. И все манифесты юных смогистов на площади Маяковского, кроме максимализма, самолюбования, наивного вызова против эстетики соцреализма и официально признанной современной им поэзии, несли в себе заряд настоящей взрослой тоски по утерянной традиции:

Была б жива Цветаева,
пошел бы в ноги кланяться...¹

Собственно вся тематика губановских стихов сводится только к двум сквозным темам: Слава и Смерть, вернее пророчество о своей поэтической славе или тоска по ней и предчувствие и предсказание своей смерти в пушкинском возрасте – 37 лет, которое и сбылось. Слава и Смерть для Губанова – это обязательные спутники Поэта, который и может быть Поэтом только тогда, когда у него трагическая судьба, когда он рано уходит из жизни, когда его убивают или когда он сам сводит счеты с ней. Отсюда у Губанова целый ряд стихотворений, посвященных трагической судьбе русских поэтов. Самое яркое, пожалуй, вот это:

Живем в печали и веселье,
живем у Бога на виду.
В петле качается Есенин,
и Мандельштам лежит на льду.
А мы рассказываем сказки,
и, замаскировав слезу,
опять сосновые салазки
куда-то Пушкина везут.

¹ Здесь и далее произведения Л. Губанова цитируются по изданию: Губанов Л. Серый конь. – М. : Эксмо, 2006.

И в большинстве стихотворений Губанова звучит это заклинание самого себя, запрограммированность собственного сознания на раннюю смерть. Это его добровольная жертва поэзии и это неизбежная судьба для человека, посмевшего надеяться стоять в одном ряду с русскими поэтическими гениями:

Холод 37 на 37,
такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
и не от праздности совсем.

Он, Губанов, — «зеркальный осколок» судеб русских поэтов, у него есть лишь выбор: быть среди «любимых, на снегу растерянных» или среди «удавленных котиков наших». И олицетворением этого выбора для него являются два поэта, имена которых стоят всегда рядом в одном стихотворении — Пушкин и Есенин. Например, как в стихотворении «Задыхаюсь рыдающим небом»:

Ах, бабы, бабы, век оттушен вам.
Сперва на бал, сперва вы ягода.
За вину грудь, убили Пушкина.
Сидела б, баба, ты на яворе.

Или в «Шуточном объяснении»:

И если я помру, то знайте —
Что на есенинских лугах
Стоит мой памятник на карте
И прчет козыри... в рукав!

Впрочем, у Губанова есть свои концепты, заменяющие прямое название Пушкина или Есенина, но указывающие на их присутствие. Имя Пушкина может быть опущено, но тогда рядом с именем Есенина прозвучит слово «осени», «Муза» или роковое «37», а рядом с именем Пушкина обязательно будет образ есенинской поэзии: береза, вшпня, цветочисъ: синий и малиновый; узнаваемая есенинская метафора:

Было мартовое,
распущено...
И, всю ночь по снегу ерзая,
пели сани, **Сани Пушкина**
у Руси в сосках березовых!

Да и сама Муза Губанова — «муза в малиновом платье». И Муза, и Русь — два наиболее любимых обращения Губанова, отражение все того же пушкинского и есенинского. Иногда Пушкин наделяется Губановым чертами Есенина («Чертот мой тоски и ласки»):

...Так пьяный Пушкин — на шабши
с кивком — у нас договориться.
Он голубую шлангу мнит,
он голубую славу мнит,
он так нелепо красным врет,
а сам у белых все гостит...
Ему в это инокостие
я рад забить пять — восемь строчек
там, где цилиндр его как точка
и бакенбарды напозаказ.

Вроде читаешь о Пушкине, но здесь явно проглядывает судьба Есенина — его послереволюционные метания («он так нелепо красным врет, а сам у белых все гостит»), его, а не пушкинский цилиндр, его желание «быть как Пушкин» и его, есенинская, проекция собственной судьбы на Пушкина:

Блюдинистый, почти бесельный,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.
[I. С.245].

Подобную частичную подмену «повесы» Пушкина «хулиганом» Есениным мы видим и в стихотворении «Болдино»:

Я Музам задирал подошлы,
Я самокрутки курил.

И обратная проекция в стихотворении «Зеркальные осколки»:

Я немного помешался на прогнозах рязанских
И, зашнуровав дакнрованные чеботы,
не усмотрел, как асфер налигался
моей хмельной, моей иристой чепкою.
Но заважал мне белые стихи
стучач Есенина, человек черный,
я понял, что читаю пустяки,
и я прочел цикл, посвященный — черту.
И когда меня глядели проектора
и аплодисменты я слушал, как слушал пощечины,
я понял — почему он повесился в نومерах.

Жутковатый пространственно-временной металеписи (подмена пушкинского есенинским, а затем и собственно губановским) находим и в другом стихотворении «Стою у изголовья слова...», которое является вариацией основного мотива стихотворения Пушкина «Приметь» и есенинского предчувствия гибели. Тот же размер, те же три строфы, анафора в начале каждой и, главное, тот же образ месяца. Но то, что у Пушкина принимает форму шутки, словесной игры, у Губанова звучит как горькая ирония.

Александр Пушкин

Я ехал к вам: живые сны
За мной вальсы толпой итнривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Менгателью вечному в тиши
Так предлежамы вы, поэты!
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Леонид Губанов

Стою у изголовья слова
и знаю, знаю — месяц слева,
и, право, слава хохит снова
тем, окровавленным же, следом.

Стою у изголовья славы
и знаю, знаю — месяц справа,
правы великие державы,
что только Русь меня держала.

Стою у собственного из-
головья, ни луны, ни месяца.
Жив! Вот еще один спортив,
чтобы до завтра не повеситься!..

Отношение Губанова к Пушкину и Есенину сложнее, чем отношение к ним как к символам поэтической славы или трагической судьбы художника. Перефразируя слова Есенина, Губанов «умер бы от счастья, сподобленный такой судьбой». Поэтому он имеет поэтическую наглость не только быть с Пушкиным и Есениным на дружеской ноге, называть первого «Сашкой», «Сашей», «Саней», давать советы, как обращаться с женой («Разговор с Пушкиным»), пессимистически перефразировать его стихи («Ни веры, ни надежды, ни любви»), а второму дарить «ремень от чемодана», но и прямо отождествлять их с собою:

...а у меня без Натали
промчался три медовых месяца...
(«Болдино»)

Я – та окраина, где вы
Не усмехались, фарисен,
Где Слава Божия, увы,
Пожачивалась, как Есенин.

ПЕРВАЯ ПРОСЕКА

С. Есенину
Я – Дар Божий.
Я, дай Боже, нацарапаю.
Улыбнутся ветлы – на царя поди?

Но параллель своей судьбы с есенинской Губанов проводит чаще, чем параллель с пушкинской, и таких явно есенинских мотива два – вино («дни, обгренные скандалом») и самоубийство:

То, что стал я писать – ослепительно,
То, что стал я так пить – это грустно.
А потом разделась сама,
легла, ждала веснего...
Только вот выплеск самовар,
пока я вешался!..

Есенин – некий «двойник» для Губанова («Я сплю рассеянным Есениным, всю Русь сложив себе под голову»), у них даже общий «черный человек». И как ни парадоксально, но отношение Губанова к Пушкину можно определить именно через стихотворение Есенина «Пушкину»:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Та же восторженная зависть, то же есенинское «быть как Пушкин», то же обещание самому «прозвенеть бронзой»:

Мои пророческие книжки
не обманят седа Русь,
иу что ж, ни дай ей ни попрышки,
когда я бронзовым вернусь!..

Я есть тебе шуганка.
Одна нагадала небо,
а вторя – счастье,
а я себе – памятник.

Можно сказать, что если Есенин для Губанова – это его двойник во времени, то Пушкин – тот памятник, на который нельзя не равняться, если ты русский поэт. Образ памятника – центральный в поэзии Губанова, но его нельзя рассматривать вне стихотворения Пушкина «Памятник») и стихотворения Есенина «Пушкину»), да и вне самого памятника Пушкину на Тверском бульваре, потому что это та отправная точка, с которой начинается в целом миф о Пушкине в русской литературе. Из всех посвящений Пушкину, сказанных перед его памятником за сто с лишним лет с момента его открытия, наиболее мифологически значимыми можно считать два: речь Ф.М. Достоевского о Пушкине (1881) и стихотворение Есенина (1924), которые определяют две грани мифа о Пушкине как о национальном русском поэте. Положение речи Достоевского о Пушкине можно коротко сформулировать в трех тезисах: Пушкин первым из поэтов воспел русский нравственный идеал (в образе Татьяны), в своем творчестве он явил основные и лучшие черты русского национального характера, он собственно дал указание и пророчество, что значит «быть настоящим русским». К этому национально-нравственному аспекту значения Пушкина в стихотворении Есенина отсылают строки – «того, кто русской стал судьбой». Есенин не спорит с Достоевским, но Пушкин важен для него не как воплощение русского нравственного идеала, а как идеал абсолютного поэта, ему важнее «в бронзе выкованная слава», потому что каждый поэт, достигший абсолютности, некоего идеала поэзии, должен оставить после себя памятник. И на первый взгляд, Губанов подхватывает это есенинское отношение к Пушкину, дает свое обещание перед памятником на Тверском бульваре (стихотворение «Разговор с Пушкиным») достигнуть абсолютной поэтической славы («потому что я ручаюсь – слава ждет меня в конце»), а свой посмертный памятник прямо или образно связывает с именем Есенина:

И если я помру, то знайте –
Что на есенинских лугах
Стоит мой памятник на карте <...>
Я лишь хотел на каждый свой кабак
обязаться доской мемориальной!..

Но если внимательно перечитать программное во всех отношениях стихотворение «Разговор с Пушкиным», написанное как бы по образцу есенинского «Пушкину»), то мы увидим, что Губанов противопоставляет себя именно Есенину. В «Разговоре с Пушкиным» повторяется внешний сюжет есенинского стихотворения: поэт – перед памятником Поэта, повторяется тема – зависть к судьбе Поэта, жажда Его славы. Но умышленно меняются детали: лирический герой Есенина *стоит* перед памятником на *Тверском бульваре*, Губанова – *проносится мимо* в «ослепительной карете» перед тем же памятником, но теперь стоящим на *Страстном бульваре* (как известно, памятник был перенесен на противоположную сторону улицы Горького, благодаря этому факту в стихотворении создается еще и дополнительная временная оппозиция: эпоха Есенина – эпоха Губанова); герой Есенина разговаривает *с собой*, а не с Пушкиным, герой Губанова, хотя и произносит внутренний монолог и не получает

¹ Подробнее в книге: Кондратьев, Б.С. Пушкин и Достоевский: Миф. Сон. Традиция / Б.С. Кондратьев, Н.В. Суздальцева. – Арамакс, 2002.

на свои вопросы в нем ответств, по *обращается* с ним именно к Пушкину. Наконец, если герой Есенина обещает, что и его «степенные пенне сумеет бронзой прозвенеть», то Губанова – отрывается от «бронзовой славы»:

Милый, что такое слава?
Не великий ль грех души?
.....
И не нужен мне твой мрамор,
и не нужен твой чугун...

Потому-то и проносится его герой мимо памятника Пушкину, что сам памятник – лишь «чугун и мрамор», а образ Поэта не материален и всегда рядом. И это притом, что, подобно Есенину, он все-таки ручается: «Слава ждет меня в конце». О какой же славе идет речь?

И не нужен мне твой мрамор,
и не нужен твой чугун,
а нужны ступени храма,
где штурную Луку.

И, не мудрствуя лукаво,
на прощание говорю:
«Вера в Бога – вот нам слава,
большей славы не люблю!...»

Это та же слава, о которой говорит сам Пушкин в своем «Памятнике», это мечта о «нерукотворном памятнике». Губановская строка «вера в Бога – вот вам слава» и пушкинская «вельню Божью, о муза, будь послушна» равнозначны по глубине своей поэтической семантики, потому что Губанов собственно и дает в последних двух строках «Разговора с Пушкиным» свое понимание двух последних строк «Памятника» Пушкина. В литературоведении сложилось два основных толкования финала пушкинского «Памятника». С одной стороны, цель истинного Поэта и Поэзии, достойных нерукотворного памятника и народной славы – быть послушным велению Божию – может вслед за В. Непомнящим быть принята как необходимость нравственного влияния поэзии на читателя: проповедь божьих законов, пробуждение добрых чувств, милости к падшим и т. д. («Пушкин... призывал смотреть на людей без злобы, на падших – с милосердием, на несчастных – с состраданьем. Призывал видеть жизнь такую, как она есть, призывал к терпимости и человечности»¹). С другой стороны, мы имеем и прямо противоположное толкование. «Добрые чувства (то есть этика человечности) и милость к падшим не были главными для поэта, – писал Г. Федотов. – Почти никогда они не были и темой или содержанием его поэзии. Упоминает он о них в «Памятнике», только становясь на точку зрения «народов», который будет его читать»². «Где в самом творчестве Пушкина пропаганда беззлобного отношения ко всем людям? – продолжал эту же мысль С. Бонди. – Где он проповедует нам милосердие («к падшим»), то есть будто бы к людям, нарушающим законы морали? <...> Где у Пушкина эта пропаганда так называемого христианского всепрощения?»³. В целом, эта точка зрения идет от интерпретации стихотворения

М. Гершензоном⁴, который считал, что сам Пушкин отрицал полезность и нравочувствительность поэзии и его «Памятник» – лишь горький сарказм поэта над возможным восприятием его творчества потомками, искавшими в его стихах то, чего в них никогда не было. А на самом деле цель поэзии – только поэзия, «божье дыхание».

Губанову же удивительным образом удается найти некий компромисс, а может истину между двумя этими литературоведческими полюсами. Высшая ступень молитвы, а значит и веры в Бога, по словам дьякона А. Кураева, это произнесение славы Богу, когда человек уже ничего не просит, ни за что не благодарит, а принимает судьбу и мир такими, какие они есть, и просто славит Бога. Именно эта миссия истинного поэта – богославие – и заложена в губановских строках: «Вера в Бога – вот вам слава, большей славы не люблю!...». Именно это же значение заключает в себе и пушкинская строка «вельню Божью, о муза, будь послушна», потому что искренне послушный Божему велению не может ни о чем просить, а только принимать мир в его целостности и славить его. Ведь богославие подразумевает под собой прославление не только самого Бога, но и всего им созданного: вселенной, человека, творчества, любви и т. д. Отсюда у Губанова и противопоставление «нашей славы», мраморной и чугунной, которая есть ни что иное как «грех души», и той славы, которая «ждет... в конце», Божьей славы. Но здесь поэт должен неизбежно столкнуться с нравственной проблемой, потому что достижение идеала абсолютного поэта, выполнение им этой миссии – богославия, невозможно без нравственного совершенствования самого поэта. Таким образом, для Губанова поэзия должна нравственно воздействовать не на читателя, а на поэта.

Если лирический герой Есенина в стихотворении «Пушкину» стоит перед памятником поэту как «перед причастьем», то Губанов не считает, что Пушкин достиг нравственного идеала настоящего поэта.

Ну а ты же был горластый,
непослушный, как злодей,
и поэтому в гроб был стыл
черный, словно нулеи.

Однако он завещал нам этот идеал (в частности, и в своем «Памятнике»), потому его путь к этому идеалу не закончился и после смерти:

Мы с тобой еще помножим
светлый наш, небесный дар.

В этом контексте наполняется мифологическим смыслом и строки «в ослепительной карете пронюшу по Страстной». Страстной улицы нет, памятник Пушкину стоит на Страстном бульваре, но в мифологическом сознании русского человека есть страстная неделя, последняя неделя перед Пасхой, и страстная пятница. Грамматическая небрежность Губанова в начале стихотворения («по Страстной» вместо «по Страстному») в сочетании с философским финалом («а нужны ступени храма, где штурную Луку» и «Вера в Бога – вот вам слава...») создают дополнительный мифологический подтекст. «Пронюшу по Страстной» – значит безудержно, синично грешить. Здесь явная параллель у Губанова своей судьбы с пушкинской: «ты же был горластый, непослушный, как злодей». Но «пронюшу по Страстной» – значит также и неумолимо, без возможности остановить время и отсрочить событие при-

¹ Непомнящий, В. Двадцать строк // Красулин, Г. Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». – М.: Честные пруды, 2005. – С. 23.

² Федотов, Г. О гуманизме Пушкина // Указ. соч. – С. 20.

³ Бонди, С. Памятник // Указ. соч. – С. 26.

140

⁴ Гершензон, М. Памятник // Указ. соч. – С. 13–18.

ближаться к моменту своей смерти, за которой все-таки ждет бессмертие, воскресение, Божья слава. Оттого-то у Губанова рядом две взаимоисключающие строчки: «и поэтому в гробах стыл» – «... но смерть не разрешил». А воскресение его ждет потому, что он «блажен», «не скорбит», «не печалится», а любит и славит:

Этот свет навеки вечный,
эти звезды в тишине,
этот дух на подвечной
тайной, тайной стороне...

Его Муза «велению Божию» послушна, оттого и услышана Богом. «Пронюху по Страстной», наконец, означает неизбежную приближающуюся смерть «горластого, непослушного» злодея в Губанове-поэте и воскресение в нем нравственно преображенного Поэта. Именно нравственно преображенным после пушкинского урока-завещания («*Веленью Божию, о Муза, будь послушна*») он изображает самого себя в следующих строках:

И от этого урока
станет худо на душе
у горбатых лжепророков,
потому что я – блажен,
потому что я услышан,
потому что не скорблю,
мне рубаха славы ближе,
потому что я люблю.

Споря в этом стихотворении с Есениным о природе славы, Губанов неожиданно для самого себя возвращается к Достоевскому, к нравственному завещанию Пушкина. Поэзия обязана нравственно влиять на мир, пусть даже только через преображение одного человека – самого поэта.

*Ирина Рудик,
студентка 4 курса факультета русской филологии
и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина,
стипендиат Ученого совета факультета*

ЕСЕНИНСКИЙ МИФ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА В РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ

В предыдущей нашей статье «Традиции С.А. Есенина в рок-поэзии» («Современное есениноведение». – 2007. – № 6) мы проанализировали влияние творчества С.А. Есенина на тематику, лексический и образный строй произведений поэтов русского рока. В данном исследовании мы рассмотрим влияние личности и творчества С.А. Есенина на становление и развитие биографического мифа рок-авторов.

Мы не претендуем на то, чтобы охватить весь круг авторов, как тех, кто стоял у истоков рок-музыки в 70-е – 80-е гг. XX века, так и тех, кто работает в этом жанре сейчас. Здесь мы следуем за Ю.В. Доманским, который указывает, что «уже сложился круг авторов, творчество которых принято в силу вышеназванных причин относить к рок-поэзии. Исходя из этого, назовем тех авторов, которых определяют как рок-поэтов – Гребенщиков, Башлачев, Кинчев, Науменко, Шевчук, Цой, Макаревич, Романов, Градский, Кормильцев, Бутусов, Ревякин, Летов, Дягилева. Именно их творчество,